Павел Эмптин

Чёрная пядь

Те, кто стучат после заката



Павел Эмптин

Чёрная Пядь. Правила мёртвых

«Автор»
2026

Эмптин П.

Чёрная Пядь. Правила мёртвых / П. Эмптин — «Автор», 2026

ЧЁРНАЯ ПЯДЬТе, кто стучат после закатаВ Сибирской глуши есть деревня, которой словно не существует. Шестнадцать домов, разбитая дорога, старый медпункт и лес, в который местные не ходят после заката.Молодая фельдшер Ольга приезжает в деревню на обязательную практику. Она не верит в суеверия, демонов и деревенские сказки. Но вскоре находит старика с пустыми глазницами, а на снегу перед его домом не обнаруживается ни одного чужого следа.Потом начинают исчезать люди.Одни слышат голоса умерших родственников. Другие видят знакомые лица в тёмных углах. Дети поют странную песню, которой никто их не учил. А старуха Нина, последняя хранительница древних правил, понимает: то, чего деревня боялась поколениями, наконец пришло за своими.Но самое страшное не в том, что Оно может принять любой облик.Самое страшное — однажды ты сам захочешь открыть ему дверь.В Чёрной Пяди ночь не заканчивается с рассветом. Она просто ждёт следующего заката.

© Эмптин П., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Чёрная Пядь. Правила мёртвых 6
Мистический хоррор 6
ПРОЛОГ. «СТУК В ОКНО» 6
ГЛАВА 1. «ДНЕВНИК ФЕЛЬДШЕРА» 10
ГЛАВА 2. «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 15
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Павел Эмптин
Чёрная Пядь. Правила мёртвых

Чёрная Пядь. Правила мёртвых

Мистический хоррор

ПРОЛОГ. «СТУК В ОКНО»

дед Максим

Дед Максим знал одно правило: после заката — не открывать. Никому. Даже если свой голос. Даже если жена вернулась с того света. Особенно если жена.

Он сидел у окна, за прикрытыми ставнями, и смотрел в щель между досками. Ставни он прикрыл ещё в молодости — соседи смеялись: «Максим, ты чего, как в осаде?» А он отмахивался: «От ветра». Ветер. Да. Пусть думают, что ветер. Но одну створку оставил неплотно — надо же видеть, что на улице. А видеть можно и в щель.

В щели — снег. Первый в этом году. Мокрый, тяжёлый, он ложился на землю и не таял, и от этого во дворе становилось тихо, как в могиле.

Печь топилась с обеда. Дед Максим бросил в топку последнее полено, подождал, пока огонь возьмётся, и сел обратно на табурет. Спина ныла, колени — тоже. Всё ныло — возраст. Восемьдесят скоро. А он всё ещё «Максим», не «Максимыч», не «дед» — хотя какой он Максим? Максим — это сила, это «великий». А он так, доживает.

За стеной кто-то прошёл. Скрип снега под валенками. Дед Максим прислушался: шаги лёгкие, торопливые. Не Гришка-охотник — тот ходит тяжело, как медведь. Не бабка Нина — та семенит. Это Пашка, молодой, из тех, кто всё куда-то бежит.

Пашка остановился. Дед Максим услышал, как он дышит — часто, с паром. Потом Пашка запел. Тихо, себе под нос, но в тишине слышно:

— *Вот и помер дед Максим...*

И осёкся. Дальше слов не знал — или сделал вид, что не знает. В деревне эту песню знали все, но вслух не пели. Только первую строчку — как присказку. Дальше шло такое, что при стариках не произносили.

Дед Максим стукнул кулаком по подоконнику:

— Не дождётесь, сопля!

Пашка засмеялся и побежал дальше. Скрип удалился. Дед Максим покачал головой: ишь, песни распевает. Молодой, глупый. Балбес, не подумал, что дед услышит. Не знает, что песни — они иногда сбываются. Особенно плохие.

Он посмотрел на фотографию на стене. Зоя. Тридцать пять лет прошло, а он всё ещё смотрел на неё и говорил: «Ну что, Зоя, дожили до снега». Не вслух — про себя. Вслух нельзя. Вслух — это как открыть дверь. А дверь открывать нельзя.

Зоя умерла в тридцать пять. Ему тогда было сорок три. Витьке шёл седьмой год, Наташке — пятый. Она заболела зимой — сильно, с жаром. Он запряг лошадь, повёз в район. Дороги не было — замело. Лошадь встала на середине пути. Он нёс её на руках обратно, до деревни. Тяжёлую, горячую, без сознания. Донёс. А она уже не дышала. Фельдшер сказал: «Ты не виноват». А он знал, что виноват. Надо было раньше. Надо было до заката. Надо было не ждать.

С тех пор он жил один. Кашу варил, штаны штопал, в школу провожал. Витька вырос — уехал в город, в институт. Наташка — за ним, в техникум. Сначала писали. Потом реже. Потом

перестали. Летом-то проехать можно — дорога есть, автобус ходит. Только никто не едет. У них своя жизнь. Свои дети. Свои заботы. А он — здесь. Один. С фотографией на стене.

Иногда он думал: а если бы тогда, тридцать пять лет назад, он успел? Если бы выехал до заката, до метели? Может, Зоя была бы жива. Может, дети бы не уехали. Может, всё было бы иначе. Но он не успел. И теперь — тишина. И снег. И правила.

Правила дед Максим знал от отца. Тот знал от деда. Правила простые: не выходи после заката. Не отвечай на стук. Не называй по имени. Не смотри в зеркало. Не оборачивайся, если окликнули на улице. И главное — не верь, если пришли «свои». Свои не приходят. Свои уже там, откуда не возвращаются. И ещё одно, самое важное: они не войдут, пока сам не откроешь. Стучать будут. Звать будут. Плакать будут. А ты сиди и молчи. Пока молчишь — ты жив.

Отец говорил: «Придут — первым делом за жену возьмутся. Потому что жену ты ждал больше всех. Это самое больное место. Там и ударят». Дед Максим запомнил. Знал, что если придут — придут за Зоей.

Он жил по этим правилам всю жизнь. Молчал. Соседи смеялись, а он молчал. И вот — снег. И тишина. И стук.

Первый стук был тихий. Дед Максим подумал — ветка. Второй — громче. Он посмотрел на окно. В щели между досками — темно. Только снег белеет.

Третий стук. Ровный. Настойчивый. Как будто пальцем по стеклу.

Дед Максим встал. Колени хрустнули. Подошёл к окну. Приложил глаз к щели.

За окном стояла Зоя. Молодая. Такая, какой он её помнил: тридцать пять, платок на плечах, руки сложены на груди. Она улыбалась.

И дед Максим сразу понял: это не она. Потому что отец говорил: «Придут — первым делом за жену возьмутся». Он знал. С первого взгляда знал.

— Максим, — сказала Зоя. Голос — её. Тихий, тёплый. — Открой, холодно.

Дед Максим отшатнулся. Сердце — тук-тук-тук — забилось где-то в горле.

— Нет, — сказал он вслух. — Нет. Ты не она.

— Максим, — повторила Зоя. — Я замёрзла. Открой. Я долго шла.

Он смотрел на неё в щель и искал, за что зацепиться. За что-нибудь. За любую мелочь, которая скажет: вот, это точно не она. И нашёл. Снег под её ногами не приминался. Валенки стояли на белом, и белое было ровным, будто она не стояла, а висела. И тени не было — хотя луна уже поднялась, и от дома, от забора, от самого деда Максима тень лежала чёрным пятном. А от неё — ничего.

— Ты не она, — сказал он ещё раз, уже твёрдо. — Я вижу. Вон, снег под тобой целый. И тени нет. Уходи.

Зоя за окном улыбнулась. И улыбка была её — Зоина, тёплая, чуть кривая на левый уголок. Так она улыбалась, когда он глупил.

— А ты поумнел, Максим, — сказала она. И голос был её. — Надо же. Тридцать пять лет один — и поумнел.

Дед Максим отступил на шаг. Вот оно. Вот. Он всегда знал, что они не просто стучат — они разговаривают. Они не притворяются до конца. Им нравится, когда ты знаешь, кто перед тобой. Им нравится, когда ты боишься.

— Уходи, — сказал он. — Я правила знаю. Я не открою.

— Не откроешь, — согласилась Зоя. И села на крыльцо. Прямо в снег — а снег под ней не хрустнул. — Ну сиди. Я подожду. Мне некуда спешить. А тебе?

Дед Максим стоял у окна и смотрел. Она сидела на крыльце — молодая, красивая, в платке. Как тогда. Как в тот вечер, когда он вернулся с охоты, а она ждала его на крыльце с фонарём. «Максим, — сказала тогда, — я думала, ты не придёшь». А он сказал: «Я всегда приду». И пришёл. Всегда. Кроме одного раза — когда не успел.

— Я подожду, — повторила Зоя. — Неделю. Месяц. Год. Ты же знаешь — я умею ждать. Я тридцать пять лет ждала. Теперь твоя очередь.

Дед Максим закрыл глаза. И вдруг подумал: а что, если это правда она? Что, если демон не может принять облик того, кого любил? Что, если отец ошибался? Что, если правила — это просто страх, придуманный стариками, чтобы было чем объяснить, почему они боятся ночи? Снег не приминается — ну и что? Может, она бесплотная. Может, духи не оставляют следов. Может, так и должно быть.

Он думал: а если это она и есть? Если она пришла — за ним? Потому что увидела, как он мучается? Потому что пожалела? Потому что тридцать пять лет — это слишком долго для одного?

Он думал: а если это не она, а демон? Тогда он умрёт. Но разве это страшно? Ему семьдесят восемь. Он один. Дети не едут. Летом проехать можно — а никто не едет. Он умрёт в темноте, как отец. Один. И никто не узнает до весны. А может, и вообще не узнает.

Он думал: а что, если открыть — и увидеть её? Настоящую? Хоть на минуту. Сказать: «Прости, что не успел. Прости, что не выехал до заката. Прости, что живу, а ты нет». Тридцать пять лет он носил это в себе. Тридцать пять лет некому было сказать.

Он думал: а если она не настоящая — какая разница? Он всё равно умрёт. Рано или поздно. А так — хоть не один. Хоть кто-то рядом. Хоть обман, но тёплый.

— Максим, — сказала Зоя с крыльца. — Ну открой. Я же вижу, ты плачешь.

Он вытер лицо ладонью. Шершавой, старой, в трещинах. Посмотрел на свои руки. На фотографию. На окно. На щель, в которой белел снег и сидела Зоя — или то, что притворялось Зоей.

— Я знаю, что ты не она, — сказал он тихо. — Я знаю. Вон, снег под тобой целый. И тени нет. И голос у тебя чужой — я просто забыл, как её голос звучал. За тридцать пять лет забыл. Ты этим пользуешься.

Зоя молчала. Улыбалась.

— Я знаю, — повторил дед Максим. — Но я устал. Слышишь? Я устал. Тридцать пять лет — один. Каша, ветер, фотография. Дети не едут. Летом проехать можно — а никто не едет. Я устал, понимаешь? Я не боюсь тебя. Я боюсь ещё тридцать пять лет тишины.

Он помолчал. Потом добавил — тихо, будто извиняясь:

— Забери меня. Только сделай вид, что ты — она. Ладно? Хоть на минуту. Я хочу сказать ей, что не успел.

И открыл.

Засов — тяжёлый, железный — поддался легко, будто его смазали. Ставни распахнулись сами. Снег полетел в сени. И Зоя шагнула внутрь. Она коснулась его лица. Пальцы — как лёд. Но глаза — её. И голос — её.

— Вот и я, — сказала она. — Вот и я.

И дед Максим улыбнулся. Впервые за тридцать пять лет. Потому что наконец-то — не один. Наконец-то — свои.

…Он стоял на крыльце. Молодой. Сильный. Снег падал ему на плечи, а он смеялся. Рядом — Зоя, в тулупе, с красными от мороза щеками. Витька с Наташкой катались с горки, визжали. Зоя толкнула его в бок: «Максим, смотри, Наташка-то как летит!» А он смотрел не на Наташку. На Зою. На то, как она улыбается. И думал: вот оно, счастье. Вот оно.

— Пойдём, — сказала Зоя. — Там тепло. Там все ждут.

Он пошёл. Легко. Будто и не было этих тридцати пяти лет. Будто не было пустой кровати, каши, ветра в трубе. Будто не было вины. Будто он просто вернулся домой.

А за спиной — снег. И тишина. И чей-то голос, далёкий, как из другой жизни:

«Вот и помер дед Максим...»

Утром его нашла бабка Нина. Дверь открыта. Снег намело в сени. Дед Максим сидел на табурете у окна. Глаза открыты. Улыбается. А глаз-то нет — вместо них пусто, черно, будто кто-то аккуратно вынул. Крови не было. Будто глаза не вынули, а забрали — аккуратно, как вещи из дома. И на щеках — дорожки от слёз. Только слёзы эти уже замёрзли.

Бабка Нина перекрестилась. Потом ещё раз. Потом вышла на крыльцо и сказала в пустоту:

— Началось.

И тихо, себе под нос, добавила — не пропела, а проговорила, как присказку, которую в этой деревне повторяли все, кто постарше:

— Вот и помер дед Максим.

Она знала, что будет так. Мать говорила: «Придут — первым делом стариков тронут. Тех, кто правила знает, но молчит». Днём-то она к нему не пошла — думала, справится. Он всегда справлялся. А вечером стучала — он не открыл. Правильно сделал. А потом — открыл. Только не ей.

Ночью она не выходила — правило. А утром пришла.

И где-то в деревне, далеко, кто-то проговорил — не пропел, а сказал, как присказку:

— Вот и помер дед Максим.

ГЛАВА 1. «ДНЕВНИК ФЕЛЬДШЕРА»

Ольга

День первый

Приехала. Распределение — обязательная практика в сельской местности. Три месяца. Сентябрь, октябрь, ноябрь. В декабре за мной должен приехать автобус. Так сказали в районе. Мама была права: «Оля, не лезь в эту авантюру». Не послушала.

Автобус дальше не идёт — высадил на трассе, сказал: «Там тропа, не заблудишься». Тропа — это три километра по грязи, прихваченной морозом. Снега ещё не было — только изморозь по утрам и лужи, подёрнутые ледком. Чемоданы на колёсиках — бесполезная штука. Тащила на себе. Двадцать девять лет, высшее медицинское, тащу чемодан по сибирской глуши.

Спросила у водителя: «А обратно когда?» Он посмотрел на меня, как на дуру: «Обратно? Девка, ты чего? Дорогу развезло ещё в сентябре. Автобус до морозов не ходит. Тут распутица — ни пройти, ни проехать». Я сказала: «А когда морозы?» Он пожал плечами: «Как земля встанет. Может, в декабре. Может, раньше. Как повезёт». Я сказала: «А если повезёт?» Он засмеялся: «Тогда поедешь. Может, даже до Нового года». И уехал.

Я стояла на трассе с чемоданами и смотрела ему вслед. Потом пошла по тропе. Три километра. Двадцать девять лет. Высшее медицинское. И одна мысль: дожить до морозов. Когда земля встанет — автобус пойдёт. Может, в декабре. Может, раньше. Как повезёт.

Деревня — шестнадцать домов. Половина заколочены. На окнах — ставни, на ставнях — замки. Как в осаде. Спросила у женщины с ведром (бабка Нина, пекарь, печёт хлеб на всю деревню): «Почему ставни заколочены?» Она посмотрела на меня, как на дуру: «От ветра». Ветер. Ага. Ветер, который ходит по ночам и стучит в окна. Я видела, как она перекрестилась, когда думала, что я не смотрю.

Меня поселили в доме при бывшем медпункте. Медпункт — это комната с кушеткой, шкафом с лекарствами (просроченными) и столом. На стене — плакат «Профилактика гриппа». 1987 год. Кровать скрипит. Печь дымит. Туалет на улице. Добро пожаловать в Чёрную Пядь.

Познакомилась с населением. Список:

Бабка Нина, 70 — пекарь. Хлеб вкусный. Смотрит так, будто я уже умерла, а она ждёт, когда за мной придут.

Дед Максим, 78 — живёт на краю, ставни прикрыты, не разговаривает. Прошла мимо — он посмотрел на меня в щель и сказал: «Ходят тут». Не поняла, к кому это.

Кузнецов-отец, 45 — пьёт. Работал на лесопилке, пока её не закрыли. Смотрит зло.

Кузнецова-мать, 40 — молчит. Отвела меня в сторону, чтобы муж не слышал. Шептала. Боялась. Попросила «посмотреть Ваню» — мальчик заикается. Спросила, давно ли. Говорит: «С осени». Осень — это два месяца назад. До этого не заикался.

Ваня Кузнецов, 7 — заикается. Боится отца. Рисует что-то на бумажках, прячет.

Катя Кузнецова, 10 — смелая. Смотрит прямо. Спросила меня: «А вы демонов видели?» Я сказала: «Нет». Она кивнула: «Пока нет».

Петя, 12 — сирота, живёт у тёти Зои. Заикается. Когда я вошла, посмотрел на меня и сказал: «Вы приехали. Значит, скоро начнётся». Я спросила: «Что начнётся?» Он не ответил. Тётя Зоя дала ему подзатыльник: «Не пугай людей».

Тётя Зоя, 60 — сплетница. Рассказала мне про всех за полчаса. Про Кузнецова — «пьёт, сволочь». Про Нину — «хлеб печёт, а сама ведьма». Про деда Максима — «чокнутый, ставни

забил, разговаривает с женой, а она померла сто лет назад». Я спросила: «А что с ним?» Она махнула рукой: «Да ничего. Старый. Скоро помрёт».

Григорий, 50 — охотник. Молчаливый. Собаки у него — три лайки. Сказал: «Если что — стреляю без предупреждения». Не поняла, к чему это.

Костя, 35 — «на заработках». Тихий. Помогает по хозяйству. Руки прячет в карманы. Когда я спросила, откуда он, сказал: «Из города». Не поверила. У него на пальцах — следы от тяжёлой работы, а не от заводского станка. И взгляд — как у тех, кто видел слишком много.

Толик, 28 — «на заработках». Дёрганый, злой. На руке наколка — не разглядела, но что-то уголовное. Когда я спросила, откуда он, сказал: «Тебе какое дело?» Костя промолчал. Но посмотрел на него так, будто хотел заткнуть.

Дядя Миша, 55 — чинит заборы. Единственный, кто улыбнулся искренне. Сказал: «Вы не бойтесь. Тут тихо. Главное — после заката не выходите».

Пашка, 19 — работает на лесопилке (единственный, кто там ещё работает). Мечтает уехать. Спросил, есть ли у меня в городе знакомые девушки. Я сказала: «Есть». Он обрадовался: «Познакомите?» Я сказала: «Сначала до города доедете». Он загрустил.

Соня, 15 — читает книги. Умная. Спросила, есть ли у меня учебник анатомии. Я дала. Она читала всю ночь. Утром спросила: «А правда, что человек без глаз может видеть?» Я сказала: «Нет». Она кивнула и записала что-то в тетрадь.

Лена, 22 — учительница. Приехала в сентябре, тоже по распределению. Молодая, наивная. Ведёт дневник — говорит, «для истории». Спросила меня: «А вы верите в духов?» Я сказала: «Нет». Она вздохнула: «Я тоже не верила. А теперь — не знаю».

Итого: шестнадцать человек, включая меня. Медпункт есть. Врача нет. Я — фельдшер. Всё, что могу: перевязать, уколоть, выслушать. Если что-то серьёзное — до района три километра по тропе, потом автобус. Зимой — никак.

Вечером сидела у окна. Снега нет. Только изморозь. И тишина. И ветер. Ветер воет в трубе. Ветер стучит в ставни. Ветер. Да.

И одна мысль, которая не давала спать: дожить до морозов. Всего-то. Дожить до морозов.

День третий

Сегодня выпал первый снег. Мокрый, тяжёлый. К вечеру всё стало белым — крыши, заборы, дорога. Красиво.

Я стояла у окна и смотрела, как белеет двор. И думала: «Снег. Значит, скоро морозы. Значит, скоро земля встанет. Значит, автобус. Может, в декабре. Может, раньше. Как повезёт».

Впервые за три дня я почувствовала что-то похожее на надежду. Глупо, конечно. Но надежда — она ведь на то и надежда, что её не выбираешь. Она просто есть.

А потом начались странности. Мелкие, но странные.

Пропала собака. Одна из трёх у Григория. Он ходил по деревне, искал. Нашёл — в лесу, на краю. Не собаку. То, что от неё осталось. Сказал: «Волки». Но волки не оставляют символы. На снегу вокруг были нарисованы круги. Ровные. Как будто кто-то чертил палкой. Или лапой.

Дети поют. Ваня, Катя и Петя. Одну и ту же песню. Без слов. Мотив: три ноты вверх, две вниз. Спросила: «Откуда песня?» Катя сказала: «Бабка Нина научила». Петя сказал: «Не бабка Нина. Оно научило». Я спросила: «Кто — оно?» Петя заикался, заикался, потом сказал: «Демон». Тётя Зоя опять дала ему подзатыльник: «Не болтай». Я записала в блокнот: «Дети поют странную песню. Возможен невроз на фоне изоляции. Наблюдать».

Дед Максим разговаривает с пустым крыльцом. Проходила мимо вечером — он сидел на крыльце и говорил: «Ну что, Зоя, дожили до снега». Я подошла: «Максим, вы с кем разговариваете?» Он посмотрел на меня, как на дуру: «С женой». Я сказала: «Ваша жена умерла». Он сказал: «Знаю. А ты думаешь, с мёртвыми нельзя разговаривать?» Я не нашлась, что ответить. Ушла.

Нина раздаёт обереги. Видела, как она ходила по домам с мешочками. Спросила: «Что это?» Она сказала: «От ветра». Опять ветер. Я спросила: «А почему в мешочках — травы и соль?» Она посмотрела на меня и сказала: «Ты городская. Ты не поймёшь. Просто носи свой мешочек. И не выходи после заката». Я взяла. Не потому что верю. Просто чтобы не обижать. Мешочек висит над дверью. На всякий случай.

Толик и Костя. Толик ходит злой, дёрганый. Костя — тихий. Вечером слышала, как они ругались за стеной. Толик кричал: «Они хотят нас сдать! Я знаю! Я слышал!» Голос был не его. Как будто кто-то говорил за него. Я подумала: показалось. Костя говорил: «Ты больной. Никто никого не сдаёт. Успокойся». Толик не успокоился.

Записала в блокнот: «Наблюдать за Толиком. Возможен психоз на фоне длительной изоляции и стресса».

День четвёртый

Сегодня нашла деда Максима.

Утром пришла Нина — бледная, руки трясутся. Сказала: «Оля, пойдём. Максим помер». Пошли. Дверь открыта. Снег намело в сени. Дед Максим сидит на табурете у окна. Улыбается. Глаза открыты. А глаз нет — пусто, черно. И крови нет. Вообще. Как будто глаза забрали аккуратно, как вещи из дома.

Я — фельдшер. Я видела многое. Видела, как люди умирают. Видела, как разбиваются, как режутся, как травятся. Но такое — первый раз.

Осмотрела. Пульса нет. Температуры нет. Трупное окоченение ещё не началось — значит, умер ночью. А глаза... Я не знаю, как это объяснить. Глазные яблоки отсутствуют. Глазницы пустые. Но нет ни крови, ни следов хирургического вмешательства. Как будто глаза просто исчезли.

Никаких следов борьбы. Никаких повреждений. Никаких следов чужого присутствия. Только снег в сенях и открытая дверь. И ещё: на щеках — дорожки от слёз. Замёрзшие. Он плакал. Дед Максим плакал перед смертью. А потом улыбался.

Я записала в блокнот: «Причина смерти не установлена. Требуется вскрытие. Но вскрытия не будет — нет транспорта, нет морга, нет никого. Похороним завтра».

Нина сказала: «Не надо вскрытия. Он умер от старости». Она сказала это быстро. Слишком быстро. Как будто знала, что я спрошу. Я сказала: «У него нет глаз». Она сказала: «Ну и что. Старость». Я сказала: «Нина, это не старость. Это что-то другое». Она посмотрела на меня и сказала: «Оля. Ты хорошая. Но ты не понимаешь. Здесь не всё можно объяснить». Я сказала: «Я врач. Я всё могу объяснить». Она сказала: «Тогда объясни, почему снег под его окном не примялся. Никто не подходил к дому. А он открыл дверь кому-то. Кому?»

Я вышла. Посмотрела на снег. Под окном — ровный снег. Ни следов. Ни отпечатков. Ничего. Только от крыльца до калитки — цепочка следов самого Максима. Он вышел на крыльцо. Постоял. Вернулся. И открыл дверь. Кому? Никого не было. Снег чистый.

Я вернулась в медпункт. Села на кушетку. Посмотрела на свои руки. Они тряслись. Я — фельдшер. Я не верю в демонов. Я верю в науку. Но наука не объясняет, почему у мёртвого старика нет глаз и нет крови. И почему снег перед его домом чистый.

Вечером пришёл Петя. Постоял в дверях. Сказал: «Я же говорил». Я сказала: «Что ты говорил?» Он сказал: «Что демоны пришли. Вы не верили. Теперь верите?»

Я сказала: «Петя, иди домой».

Он ушёл. А я сидела и смотрела на мешочек с травами и солью, который висит над моей дверью. И думала: может, не такой уж он и бесполезный. Может, Нина знает что-то, чего не знаю я.

Записала в блокнот: «Дед Максим умер. Причина не установлена. Завтра похороны. После похорон — поговорить с Ниной. Серьёзно».

День пятый

Похоронили. На кладбище — за деревней, на холме. Шестнадцать человек, включая меня. Могилу копали Толик и Костя. Толик бросал землю зло, с остервенением. Костя — молча. Когда закончили, Толик воткнул лопату в землю и ушёл, не сказав ни слова. Костя постоял, посмотрел на могилу, потом на нас. И сказал: «Помолитесь, кто умеет». Никто не умел.

Нина сказала речь: «Максим был хороший человек. Молчал много. Но хороший». Все кивали. Толик стоял в стороне, смотрел волком. Костя держал его за локоть — как будто боялся, что тот убежит. Или что-то сделает.

После похорон я подошла к Нине. Сказала: «Нина. Что происходит?» Она посмотрела на меня. Долго. Потом сказала: «Пойдём. Покажу».

Привела меня в свой дом. Достала из подпола тетрадь — старую, в кожаной обложке. Сказала: «Это от матери. Она была знахарка. Здесь всё написано. Как защищаться. Как не пускать. Как изгонять».

Я открыла. Там были записи — часть на русском, часть на каком-то другом языке. Похоже на старообрядческое письмо. Или на что-то ещё более древнее. Рисунки — круги, символы. Имена. Даты. И фраза, повторявшаяся много раз: «Они приходят, когда забывают. Они едят тех, кто помнит. Они боятся тех, кто знает».

Я спросила: «Кто — они?» Нина сказала: «Хозяева. Тайга их знает. Мы их знаем. А вы, городские, не знаете. Поэтому вы для них — еда. Как овцы. Вы не помните правил. Вы не верите. Вы открываете двери».

Я сказала: «Нина, это... это фольклор. Это суеверия». Она сказала: «Да. Суеверия. А глаза у Максима где? Суеверия их забрали?» Я замолчала.

Она сказала: «Оля. Я не знаю, что будет дальше. Может, они уйдут. Может, нет. Но одно я знаю точно: пока ты не веришь — ты уже мёртвая. Они не трогают тех, кто верит. Потому что верящие знают правила. А правила — это жизнь».

Я взяла тетрадь. Сказала: «Можно?» Она кивнула: «Читай. Учись. Может, выживешь». И добавила, будто невзначай: «Я старая. Мне некому передать. Петя — малой ещё. Соня — девка, но она не врач. А ты — врач. Ты поймёшь».

Вечером читала. Ничего не поняла. Половина — на непонятном языке. Но кое-что запомнила: «Не открывай после заката. Не называй по имени. Не верь своим глазам. Если стучат — не отвечай. Если зовут — не оборачивайся. Если видишь — не смотри. Если слышишь — не слушай. Они входят только через дверь. Но дверь можно открыть и изнутри».

Последняя фраза. «Дверь можно открыть и изнутри». Что это значит? Что мы сами впускаем их? Что они не могут войти, пока мы не откроем? Я вспомнила Максима. Он открыл. Сам. Сознательно. Я вспомнила, как он плакал. И как улыбался.

Записала в блокнот: «Прочитала тетрадь Нины. Фольклор. Но совпадения с реальностью есть. Надо изучить. Наблюдать. Доказать — себе — что это не демоны. Что это что-то объяснимое. Что-то...»

Не дописала. Потому что не знаю, что писать дальше.

День шестой

Сегодня ночью стучали в моё окно. Три раза. Ровно. Настойчиво. Я не открыла. Сидела на кушетке, зажав рот руками, и смотрела на мешочек с травами над дверью. Стук повторился.

А потом за окном заговорили. Сразу несколько голосов. Наложились друг на друга, как будто кто-то включил радио на полную громкость. Я услышала:

— Оля. Открой. Я замёрзла. (Мой голос. Мой собственный. Я узнала бы его где угодно.)

— Оля. Это я. Твоя мама. Открой, дочка. (Голос мамы. Она умерла пять лет назад. Я забыла, как он звучит. А тут — вспомнила.)

— Оля. Ну открой. Тут холодно. Тут темно. (Голос моего бывшего. Мы расстались три года назад. Я не хотела его слышать. Но он звучал.)

— Оля. Открой. Мы тебя ждём. (Голос, которого я не знала. Детский. Тонкий. Как у ребёнка.)

Я не открыла. Сидела и тряслась. Голоса говорили ещё минуту. Потом замолчали. Потом стук повторился — громче, настойчивее. Потом — тишина.

Утром вышла. Снег под окном — чистый. Ни следов. Ничего. Только на стекле — отпечаток ладони. С внутренней стороны. Как будто кто-то прижал руку к стеклу изнутри. Из моего дома. Пока я спала.

Пальцы длинные. Не мои. И не Петины. Чьи-то ещё.

Проверила дом. Всё на месте. Дверь заперта. Засов на месте. Окна закрыты. Но отпечаток — есть. Я его не делала.

Записала в блокнот: «Этого не может быть. Но это есть».

Вечером пришёл Петя. Постоял в дверях. Сказал: «Оно говорило твоим голосом, да? И голосом мамы? И голосом того, кого ты...» Я перебила: «Откуда ты знаешь?» Он сказал: «Я видел, как оно стояло под твоим окном. Оно было как ты. Но не ты. И рядом с ним были другие. Много. Они все говорили».

Я спросила: «А если не открывать?» Он посмотрел на меня. И сказал: «Тогда оно стучит громче. И говорит громче. И тогда ты открываешь. Потому что не можешь больше слушать».

Я спросила: «А если открыть?» Он сказал: «Тогда оно заходит. И забирает глаза. Как у деда Максима».

Он ушёл. А я сидела и смотрела на отпечаток ладони на стекле. И думала: «Три месяца. Мне нужно продержаться три месяца. А потом — автобус. Летом. Если доживу».

Записала в блокнот: «Не открывать. Никогда. Даже если голос мамы. Даже если свой. Особенно если свой».

ГЛАВА 2. «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.